

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44
Р71

Редактор Мария Головей

Ронжина М.

Р71 Одиночка : [роман] / Маргарита Ронжина. — М. : Альпина нон-фикшн, 2023. — 416 с.

ISBN 978-5-00139-913-1

Дебютный роман Маргариты Ронжиной «Одиночка» тонко ведет по пяти эмоциям — этапам проживания горя. Главная героиня, Саша, находит себя в больнице с новорожденным мальчиком и чувствует — с ним что-то не так. Она остается одна и пытается балансировать между своими желаниями и страшным осознанием, что как раньше уже не будет. Саше предстоит пройти долгий путь принятия себя в новом статусе, своего ребенка, который никогда не будет «нормальным», научиться строить отношения и без паники их отпускать, а еще — быть счастливой не вопреки своей жизни, а благодаря ей. Это история о человеческой силе, преодолении и надежде.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00139-913-1

© М. Ронжина, 2023
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2023

нам, С

ОДИН

(детская больница, семь дней после родов)

Ее нашли на полу, у разбитой больничной ванны, и сразу отвели в палату.

Как-то поддерживали, как-то укладывали, что-то встревоженно шептали. В глаза ее смотрели, смотрели несколько сотен пар глаз *а может, лишь одни* но она этого уже не понимала. Зрение расслаивалось, мерцало, как-то тоже мешалось. Хотело измучить. Играло. И конечно, лучше было бы ей закрыть глаза, закрыть их насовсем или на секунду *как же заранее поймешь* да, закрыть. Но глаза уже не слушались, но глаза все не закрывались.

«Отдыхайте», — сказали ей, когда только привезли и разместили в палате.

«Отдыхайте», — сказали ей и, наверное, почти не издевались. Отдыхайте, рядом с младенцем, таким маленьким, что страшно дотронуться, что страшно на руки взять, да и зачем. Зачем?

Там, еще в роддоме, врачи приняли сложные роды — и что-то знали. Медсестры буднично наблюдали ее, Сашу, в первые часы в реанимации, в послеродовой, почти нежно спрашивали о самочувствии — и тоже

что-то знали. Действовали строго по инструкции, но что-то скрывали, скрывали с жалостью, с сочувствием, с пугающей, зомбирующей опаской.

Хотели что-то сказать?

А может, и хотели, но ждали, что она забудет о процессе, о том, как что-то растягивалось, расходилось, рвалось *и жалось, да, и давило, и тянуло, и опять рвалось-рвалось* Ждали, что она возьмет его на руки, его, крошечного истукана, и найдет, пробудит вместе с молозивом и молоком — свой спящий материнский инстинкт.

И вот родила, только-только пришла в себя, как ее и младенца перевели в детскую больницу. Ничего конкретного не сказали, ничего не объяснили, не дали времени посоветоваться с родственниками *если бы они были* лишь предупредили — не выписываем, нет, о доме и думать забудьте, вам нужно сначала разобраться со здоровьем ребенка.

А Саша покорно делала, что говорили, и была довольна, что кто-то рядом. И она лежала *каменная Ниоба, и слезы все текли, и текли, и слезы были сухими* Посматривала на младенческий кувез, стоявший совсем близко, рядом с ее кроватью. Это был уже не роддомовский бокс, где она наблюдала за запеленатым свертком через стекло. Нет. Он был тут. Тут. С ней.

И он дышал.

И нужно было с ним что-то делать.

Его было жутко даже трогать, и она этого делать не собиралась. Надо немного привыкнуть, познакомиться, пока можно еще кого-нибудь позвать. Медсестра и так показала — и даже не одна медсестра

и не один раз за эти дни, — как правильно поддерживать головку, как менять подгузник.

Он был не очень красивым. Саша вроде это понимала, но раз за разом приглядывалась — хотела увидеть что-то другое, новое, симпатичное. Как будто ждала, что вот оно там распахнется и откуда-то вместо этого альденте-младенца вылезет нечто более приятное, розовощекое, более понятное.

Но никто не появлялся. Они оставались один на один.

Мальчик не двигался. Лежал ровно, с закрытыми глазами, со всеми этими подключенными трубками. Она отвернулась к стене и с головой накрылась клетчатым одеялом.

Может, вот так замереть и никуда не вставать? Анабиозно выждать, пока все пройдет, рассосется, забудется, разойдется. И смотреть, и смотреть в эту зеленую, неровно окрашенную стену с глянцевыми потеками. Не мигать, пробовать как можно дольше не мигать, чтобы водная пелена размыла реальность. А потом встать и уйти куда, откуда

— А ну-ка, рано еще спать, — раздалось где-то сверху.

Саша не шелохнулась, хотя от неожиданности бойко застучало сердце. Ребенок закричал, но почти сразу замолк. Чьи-то руки сдернули с плеч колючую ткань, пришлось обернуться. Широкая женщина в белом, но каком-то ином, немедсестринском халате.

— Разлеглась, — зычно продолжила сестра-хозяйка. — Пойдем, покажу отделение. Времени тебя ждать нет, давай быстрее.

— Сейчас.

Саша села и угрюмо сунула обе ноги в мягкие белые, уже начинавшие сереть, тапочки.

— Ты смотри, пока одна живешь, но после выходных подселим кого. Тумбочку, смотрю, завалила. Когда обход, когда врачи придут осматривать, вещи свои прячь внутрь, особенно женские, а то мужчины-доктора заходят, а у некоторых трусы, прокладки и все вверх дном. Постыдились бы.

вещи, особенно женские

— Пойдем, пойдем дальше, что сидишь, — от глубокого зычного голоса закладывало в ушах. — Одна, думаешь, у меня?

Саша тяжело встала и поплелась за женщиной. В коридорах пахло не медикаментами, а едой, стены окрашены в приятный травяной цвет. На скамейках сидели, будто отдыхали после бани, женщины, и все — в домашних халатах.

— Значит, так. Здесь пост медсестры. Каждый день до восьми утра измеряй температуру себе и ребенка, записывай в журнал, вот он тут всегда лежит открытый. Если что-то случилось, на посту даже ночью есть дежурные, обращайся. Так, дальше у нас постирочная и сушка белья. Свою одежду запоминай и забирай, как высохнет, не оставляй надолго. А то повесят, и ищи-свищи целыми днями.

Туалетная бумага хранится тут, дверцы скрипят, тьфу ты. Ладно. Дальше. Столовая. Завтрак, обед и ужин четко по расписанию. Скоро запомнишь. Если что, буфет внизу, но там что-то мелкое купить; продуктовых напротив тьма. Мамочки договариваются с соседками и ходят до супермаркета по очереди.

Здесь процедурная, на уколы сюда, как позовут. Врачи принимают за пределами отделения. Медсестра все покажет.

— Когда придет врач?

Сестра-хозяйка так привыкла слушать только себя, что вопросу — и тому, что Саша вообще открыла рот, — очень удивилась и перешла на «вы».

— Это не ко мне. Ждите.

ждать. но... чего?

К вечеру отделение замерло: закончился ужин, женщины разошлись по палатам, и Саша поняла, что врач не придет.

Младенец просыпался, ворочался, плакал. Медсестра поменяла лекарство в капельнице и подгузник; потом показала, как докармливать ребенка смесью. Взглянула на Сашу, та стояла рядом и бесцветно наблюдала. Вздохнула. Отдала бутылочку. Ушла на пост. Не она, женщина в белом.

Саша так долго удерживала левой рукой бутылку, что, когда та опустела, не сразу смогла разогнуться. Спину ломило, ноги затекли. Но снова можно было представлять себя одной, представлять, что все прошло *что*

Нужно умыться.

Не очиститься, не прийти в себя, не почувствовать себя чистой, а механически совершить хоть какие-то привычные действия. Она дошла до ванной, застыла перед раковиной, долго терла каждый палец. Прошагала назад в палату. Чего-то смутно хотелось, но не понять чего. Посмотреть бы на улицу.

За шторами зеленел внутренний двор, внутренний мир: кусочек ветвистой аллеи, свежеокрашенные бликующие лавочки, курящие мужчины-посетители.

В окнах бликовало другое, нечто такое, от чего полагалось бы зажмуриться. Но Саша не зажмурилась, она придвинулась еще ближе, чтобы разглядеть тени на стекле.

Холодная поверхность обнажала грязные волосы в неаккуратном пучке, блестящее, какое-то пористорыхлое *как срез домашнего хлеба* лицо. Под футболкой, словно недавно родившей самой, обозначался недавно родивший живот *ущипнула* и печально вмещался он между Сашиными большим и указательным пальцами. Синие соски постоянно болели, ныли от мучительного, дрожаще-неумелого сцеживания. Рана между ног все не затягивалась, саднила. Вся Саша саднила. Вся Саша пылала болью.

Вот бы взять, подумала она, вот бы взять, поднять эту бесформенную *как сама футболку* и прижать, прижаться ореолами к стеклу. Как было бы хорошо. Так хорошо. Гораздо лучше, чем смотреть на эту отзеркаленную соседку, постаревшую женщину двадцати шести лет.

Но не подняла, не прижала. Завернулась с головой в одеяло, поежилась от колючего, обхватывающего, пугающего. Уснула.

Утром уголок одеяла стал мокрым, закусанным.

Но голод не ощущался. Голод перестал существовать еще со вчерашнего дня, когда все, что влезло

в желудок — два злаковых батончика, — не очень приятно и почти сразу его покинуло. Про завтрак она даже и не подумала, сходила в туалет, к журналу — записать температуру, а потом сбежала в палату, в свое убежище.

Ребенок заплакал и плакал долго. Саша с испугу правильно поменяла подгузник, покормила из бутылочки, но сирена не унималась. Взяла его на руки, в пеленке, стала укачивать. Надо было найти ту самую кнопку, тот самый алгоритм: вправо-влево, вверх-вниз, чтобы ребенок затих у нее на руках. И он затих.

Сладостную, распадающуюся тишину можно было слушать вечно. Но ей не сиделось. Когда же позовут ко врачу? Она пошла искать.

Двенадцать. В коридоре оживленно предобеденно куда-то — как будто просто туда-сюда — ходили женщины. Пахло жидким супом, котлетами и школьными булочками с сахаром. Сестринский пост пустовал.

Саша хотела дойти до процедурной, развернулась и случайно пнула красную шапочку. Большую, на взрослого человека бы налезла. Оглянулась. Коридор вдруг опустел, только надвигалась пожилая женщина с коляской, ее Саша видела не первый раз — та катала, прогуливала ребенка туда-сюда по коридору.

— Это не ваша шапочка? — спросила Саша и исправилась, взглянув вниз. — Или вашего ребенка?

И смутилась. По возрасту эта монолитная, из камня высеченная женщина больше подходила на роль бабушки.

Мальчик наскоро, чисто, но небрежно-хаотично одет. Да, большая шапка была для него, вернее, для грушевидной перебинтованной головы.

— Он не мой, я сопровождающая няня от фонда, — последовал автоматический, поскрипывающий металлом ответ. — От него отказались родители.

— А после? — еле слышно выговорила Саша.

— Что после?

— Что будет с ним после больницы?

— Его отвезут в дом малютки, — равнодушно проговорила няня, — и там хорошо позаботятся. Там он не один такой, большеголовый, будет.

Замолчали, и Саша уже хотела уйти, как вдруг женщина произнесла:

— Я видела этих родителей, вернее, мать. Наркоманка и алкоголичка. Хорошо, что отказалась, а не выбросила голодного ребенка на помойку или в морозилке не закрыла. Спасибо за шапку. А то из своего кармана покупать. Зарплаты на них всех не хватит.

сердца на них всех не хватит

Но Саша ничего не успела ответить — ее окликнули по фамилии. За ней пришли.

Пора.

Пока шла, как на эшафот, за бодро семенящей медсестрой с папкой под мышкой, то особо ничего и не чувствовала. Ведь знала — и раньше, и всегда, — что люди в белом определенно что-то умалчивают. До этого — сил самой что-то спросить не было, но ведь сейчас ведут же. И расскажут. Признаются в чем-то страшном.

Прямо, налево, пятая дверь справа. История болезни в руках — теперь ее. Пошла.

— Я присмотрю за ребенком, — предупредила медсестра.

Саша кивнула. Кивок получился скомканным, сбитым, будто она хотела кивнуть, но в последний момент передумала или чего-то в таком кивке вдруг испугалась.

— Спасибо.

— Ну, идите, идите, врач ждет, — поторопила медсестра.

И пришлось войти. В этот кабинет, где сидели несколько врачей, и все они как один что-то делали: звенели ложками, пили чай, слушали пациентов, всегда пациентов, всегда чай.

— Александра Валерьевна? — позвал ее усатый, крепко сбитый мужчина.

— Да. Здравствуйте.

Усталый врач указал на стул и принял из рук историю болезни. Как же она не догадалась заглянуть в эту папку? Где же было здравому смыслу бороться со слепой, вышедшей из моды *но пока еще тлеющей, тлеющей, да* надеждой?

— Александра Валерьевна, нужно ваше согласие на операцию. И по общему состоянию...

Боль разливалась медленно *боль ли?* И вроде как доходил смысл слов, обозначающих диагнозы. И смыкались и размыкались губы спокойного, отрешенного доктора. И Саша наконец поняла, что от нее прятали все это время в роддоме, почему отводили глаза.

Может, она оглохла? Сошла с ума?

Шум в ушах нарастал, нарастал, и в один момент показалось, что звуки в мире закончились, все,

кроме доктора, разучились говорить. Когда он закончил и сказал ей идти, она встала и пошла.

встала и пошла

Да, можно было ничего не запоминать. У них все записано. Все, что нужно знать, она знала. Ее ребенок никогда не будет здоровым.

Как-то снова оказалась в палате.

Хотела кинуться на кровать, но он проснулся. Закряхтел. Застонал. Пришлось проверить подгузник, а потом долго укачивать младенца на руках. Но он не засыпал, черт возьми, не засыпал и все больше извивался на руках.

Она качала ребенка, баюкала, булькала, осторожно трясла в разные стороны, чтобы он наконец перестал кричать. А потом вздрогнула, вспомнила. А если это — тот самый приступ, о котором предупреждал доктор? Хотела позвать медсестру, но малыш успокоился и обмяк, переводил дыхание. И Саша стояла. И Саша замедляла разогнанное сердце.

Нет. Не так она себе все представляла. Злилась на себя — дуру; на Марка, от которого забеременела, да так и оставила; на врачей, других матерей, общественность, государство.

«Все изменится», — говорили они.

«Ты больше не будешь прежней», — говорили они.

«Любовь к ребенку затмит все, и даже собственные желания», — говорили они.

как же надоели!

а если я не могу? хотелось кричать

а если я не справлюсь? хотелось кричать
а если дальше жизни нет? хотелось кричать

Она качала и кричала. Кричала и качала. Она беззвучно выла, грызла, истязала себя, пока не онемели руки. Пока не онемела душа.

* * *

Тишина наступила не сразу. Сначала нечто врывалось, врывалось неуверенными толчками, преодолевало сопротивление, зудело, юлило, а потом вдруг отстранило нервоточину. Стало оцепенелой, неуверенной тишиной.

Два дня она пролежала на смятой, уже пахнущей младенцем постели, отлучаясь, чтобы покормить и поменять подгузник, дойти до туалета, съесть безвкусный злаковый батончик. Звонили подруги, звонила, конечно, Яна, но Саша не отвечала. В выходные не было врачей, утренних обходов, обязательных дел, и она могла молчать, наслаждаясь одиночеством.

Повезло.

Время вокруг текло медленно, тягуче, мир преворачивался вместе с Сашей на один бок, а потом надолго замирал, пока бок не затекал, и нужно было опять менять положение. Голод не приходил. Еда пахла. Дышала. Что-то обещала. Но зачем? Пока можно и обойтись.

Медсестра зашла в воскресенье, рано утром, попросила занести бумажку для личного дела.

— Найду чуть позже, — пообещала Саша.

Женщина поворчала, ввела лекарство в катетер на голове ребенка и вышла. И снова зашла к обеду.

— Все лежишь? Мне нужно документы отсканировать.

— Сейчас поищу.

— Кто за ребенком будет смотреть, пока ты разлеглась?

— Я, — еле слышно проговорила Саша и резко встала.

Побелела. Покачнулась.

— Ну-ну. Ты совсем не ешь, что ли? Бледная такая, — сощурившись, спросила женщина в белом.

— Ем.

Саша встала у тумбочки, ожидая, когда медсестра уйдет. Но та не двигалась.

— Думаешь, ты одна такая? Да тут целое отделение, да еще с диагнозами пострашнее. Некоторые дети по двадцать операций переживают, месяцами в больничных стенах. Матери все силы на них тратят, а не на... эх... да что тебе...

Вышла наконец.

а что мне другие? я-то одна

Саша присела на корточки и в упор уставилась на светло-серую дверцу с истертой ручкой. Вспомнила-вспоминала, что же надо было найти. Куда она могла положить эту бумажку? Пакеты, пакеты, все эти дурацкие пакеты; набитый рюкзак. Она без разбору начала вытряхивать оттуда вещи. Что тут? *короткая жизнь человека*

ворох скомканных салфеток; еще чуть влажных
файлик со смятыми по углам документами

недоеденная, истертая пачка печенья
пакет с грязным бельем; нет сил разбирать
и стирать
крем универсальный: для лица, для тела, для ребенка
шампунь и мыло в скользком пакете; болтается
бритва
зарядка для телефона с изломом на шнуре
пеленки, распашонки и штанишки для младенца
кружка, ложка и тарелка; почерневшие
чайные пакетики, обертки от злаковых батончиков;
не меньше семи
расческа, попавшая в худенький пакет с трусами;
без зубьев
цепочка, подаренная мамой на... на восемнадцатилетие; золотая

Цепочку Саша достала из маленького потайного кармана. Аккуратно расправила на руке и села прямо на пол.

а ведь как новая, а ведь как вчера

«На память, — сказала мама. — Знаю, ты не любишь желтое золото, но я купила эту цепочку давным-давно, на первые заработанные от магазина деньги. Я радовалась, что смогла. И ты все сможешь. Пусть остается как символ».

Саша хорошо помнила. Они сидели в изящном летнем кафе с коктейлями и итальянской пиццей с базиликом. Справляли ее поступление на экономический факультет. Слушали и рассказывали каждая о своем. Мама выглядела удивительно молодо — не дашь и сорока.

Что-то стукнуло. Медсестра, придерживая ногой дверь, пролезла в палату и остановилась. Так они с Сашей и смотрели друг на друга. Женщина перевела взгляд на заваленный пол, похмыкала, поставила поднос на застеленную соседскую кровать.

— Нужны горячая еда и питье, чтобы молоко легче прибывало. Тебе же еще кормить грудью.

— Спасибо.

О справке и не вспомнили.

Саша затолкала вещи в рюкзак, а его сунула в тумбочку, еле поднялась и впервые прямо посмотрела на миловидную, среднего возраста женщину в очках, с темными короткими волосами. Ольга Анатольевна — значилось на бейдже. Старше мамы.

— Муж есть? — неожиданно спросила она.

— Нет.

— Кто-то может поддержать? Родители?

— Мама... была... умерла.

— Рак?

— Авария.

Женщина в белом сочувственно цокнула языком. Саша не понимала, почему так спокойно отвечала на личные вопросы. А ей есть что скрывать?

— А отец, бабушки, дедушки?

— Отец улетел по работе, останется, наверное, там, я не знаю. Бабушек давно похоронили.

и праба, праба Пелагею

Папа улетел в день родов. Так было нужно. Обещал, что если с проектом *там* заладится, то ждет дочь с внуком к себе. А если нет, то прилетит

обратно, в Москву. Говорил, как рад красавцу-мальчугану. Говорил, что он вырастет спортивным и пробиивным, деду будет с кем бегать на лыжах, соревноваться на скалодроме, болеть за хоккейную команду.

Да. Естественно.

— Во-о-т уж, — совсем тепло, почти ласково протянула Ольга Анатольевна и придвинулась к ней ближе. — Всем бывает плохо, но ты ответственна за живого человека! Не хочешь думать о себе, подумай о нем. Страдай, плачь, но то, что должна, делай. Отвлекайся. Выйдешь — сходишь к психологу. А пока пообщайся с другими мамочками. Станет легче. Давай, ешь. Я пойду.

Слова отбивались, дробились, не отскакивали, но и не проникали глубоко. Саша хотела закончить допрос и потянулась к приборам.

Есть. Ну что же. Бледное пюре и аппетитно пахнущая котлета, жидкий чай в стакане, маленькая тарелочка с затяжным печеньем.

Она взяла пюре на кончик вилки и замерла.

— А если я не смогу?

Но уже никто не слышал.

* * *

Не есть нельзя. Но есть по-прежнему не хотелось. Котлета заветрилась, пропала, пюре заledenело; Саша хотела было глотнуть горячего, но и чай остыл. Что же делать, остыл.

Надо выйти туда, в коридор, в столовую, за кипятком и, может быть, за сахаром. Горячего чая хотелось все сильнее и сильнее. Она прождала

до ужина. И едва послышалось характерное движение и звон, туда — в коридор и столовую — все-таки вышла.

Она пыталась пробиться к горячей воде — пройти слева холодильники, раздаточное окно и двигаться к дальнему углу, к столу, на котором ждут кулеры, — но как-то встала в очередь, как-то *зачем-то* получила тарелку с борщом. Как-то села около улыбчивой полненькой брюнетки, кормящей сына на коленях. Посмотрела в свою кружку — кипятка там так и не появилось, но появился теплый компот.

Брюнетка с ребенком действовала на Сашу удручающе. Когда-то она мечтала, как покажет фотографии новой себя: усталой, но красивой, уже с младенцем. И все будут поздравлять, и она устроит праздник, и подружки надарят красивую одежду *и плевать на этого Марка*

Рука дернулась. Несколько капель супа расплзлись по клеенке нежирными кляксами. В тарелке еще оставалось много, все, что было положено, и оставалось. Она не съела ни ложки. «Первый день?» — донеслось до Саши. Она помедлила, убедившись, что обращаются к ней и подтвердила, не поднимая головы:

— Почти.

А распевный голос продолжал:

— Ничего, скоро станет легче.

Саша заторможенно повернулась к подсевшей справа соседке: ухоженная женщина лет тридцати, с кудрявыми волосами, маникюром, подведенными глазами, в аккуратном спортивном костюме *не в цветастом халате*

Рыжая красавица приветливо, сочувственно улыбнулась. Спросила серьезно:

— Сколько ребенку?

— Одиннадцать дней.

— Какой диагноз?

— Я не запомнила.

Рыжая кивнула.

— В первый раз всегда так.

Замолчали.

Соседка с аппетитом ела тушеные овощи из лотка.
надо есть, надо надо надо есть

Саша насильно проглотила несколько ложек остывающего, но вполне съедобного супа. Чуть не вырвало. Машинально она схватилась за компот и поразилась этой жидкой одинаковости блюд. Соленое и сладкое. И то и то разбавленное.

как ее жизнь

— Вот ты где. — Напротив Саши села худенькая симпатичная девушка с малышкой на руках.

— Катя, ну что? — переключилась рыжая и продолжила начатый ими когда-то разговор.

— Добилась. — Та махнула свободной рукой и достала из пакета большой творожок. — Наконец-то сдвинулось. По итогам комиссии назначили операцию. Экстренно ищут место.

— Может, третий операционный день на неделе поставят?

— Да, хирург, не запомнила, как его зовут, должен решить.

— Ну и хорошо, — улыбнулась рыжая, наблюдая, как малышка ест.

— После всех проблем в нашем городе! — Катя закатила глаза и обратилась уже как будто к Саше, но не к Саше, а ко всем, кто мог их сейчас слышать, а целиком историю не знал. — Я сама пришла к неврологу, она меня обсмеяла. Но направление дала. С анализами случилась беда: то напутали в лаборатории, то не так взяли, то врач ушла в отпуск. А потом на приеме сказала вечное «а где же вы раньше были». Я аж дар речи потеряла!

Катя говорила-говорила, но ребенка держала странно: не стоя и не сидя, а так, посередине, Саша не могла объяснить как.

— Да, приходится пока так, — добродушно пояснила она. — Сидеть нельзя, стоять не может. Слава богу, опухоль в позвоночнике скоро вырежут. А то у меня уже рука отваливается. Восемь месяцев как-никак.

— Ой, свою-то Машу в восемь месяцев я еле могла поднять, — воскликнула рыжая.

восемь

почему они засмеялись?

— Ладно, девочки, пора отдыхать.

Рыжая собрала свою посуду, энергично поднялась и чуть наклонилась к Саше:

— Не бойся обращаться, здесь все свои. Поймут, поддержат, поделятся информацией. Если захочешь поговорить, я в первой палате. Приходи.

— Спасибо, — сказала Саша через силу, ей уже было нехорошо.

Мир вокруг подергивался рябью, терялся, мерцал. Вот бы вырвало *все вышло, а выходить-то и нечему*

и полегчало. Вот бы вырвало и боль *из сердца* ушла. Вот бы. Но нет. Саша доползла до палаты и долго лежала в кровати. Кое-как покормила и покачала ребенка. От возраста или лекарств он спал и спал, и это было кстати.

Часы шли, шли, но лучше не становилось. Как была, босиком, прошла до пустынной ванной комнаты. Подумала, что вырвет, и наклонилась к раковине. Плеснула несколько раз на лицо, на руки, на грудь — ледяным.

ничего

Посмотрела в свое лицо, не глаза — лицо. И все вокруг снова завертелось, закрутилось, лицо куда-то понесло.

Саша отодвинулась к ванне, нагнулась, оперлась, куда-то поползла. Влезла в зеркало с одной стороны, вылезла с другой. Пыталась оторваться, выбраться на свободу, силилась, силилась и наконец сделала спасительный рывок.

Получилось. Донесла лицо до пола, уцепилась за что-то телом, закружилась туда-сюда, затанцевала в форме плиточных паттернов, в форме прочных роршаховских ассоциаций, меандровых узоров. И там, в этом пестром, мозаичном, так и осталась вальсировать.

нет, как ни крути, не выкрутишь из головы

Вальсировала и вальсировала, пока не упала. Куда-то упала.

И мир спешно покинул ее.

* * *

(настоящее время,
три месяца после рождения ребенка)

Люлька отбивала ноги.

Тяжелая, наполненная мальчиком люлька была явно создана не для Сашиных ослабевших рук. Пока она поднималась домой, наверх на четвертый этаж, плечи дрожали, нетренированная спина глухо ныла. Подъездные, слишком яркие лампы раздражали. Пакет, со злополучными продуктами пакет каждый раз стукался о ногу, так, что порвал колготки и уже царапал ногу.

Четвертый этаж без лифта.

Добралась.

Саша зашла в квартиру, поставила люльку на пол, к ногам — дальше не позволяла площадь. Кинула ключи на столик у заляпанного зеркала. Села на тумбу, как была в плаще, обуви, перчатках, и закрыла руками лицо. Пахнуло улицей, железными поручнями автобуса, наступающей осенью.

Как же устала. Морально и физически. Разжать, разжать этот голый нерв в сердце. Но это было не по силам. Не сейчас. Раздеться бы. Умыться. Выпить чая.

очень сложно

Она скинула обувь, одну об другую ногу, и верхнюю одежду. Сразу протянула руку, чтобы выключить за собой свет — привычка от бабушки, — хотя еще не унесла ребенка в другую комнату. Включила,

опять. Низкий, какой-то давящий потолок на несколько секунд сбил ее с толку. Оглушил.

Душно, тесно, безобразно, хотя раньше, подбадривая себя, она говорила «компактно». Ведь вполне же обычная, даже уютная квартира, не лучше и не хуже, чем у многих: на пяточке в прихожей вздулся линолеум; бежевые, в мелкий цветочек обои хоть и не висели клочками, как в детстве, но уже устарели и требовали замены; черная тумба и столик с зеркалом — комплект — были из тех вещей, которые не нравятся, но не выбросишь, ведь почти новые.

Ребенок заплакал, напомнил о себе. Саша раздраженно натянула футболку с шортами, а потом раздела стонущее тельце до тонкого слитного комбинезона.

— Ну, пойдем.

Люльку с ребенком расположила на кухне, на полу. Раньше ставила на стул, но теперь боялась неловких движений. Пространство вокруг было заставлено: светло-голубым гарнитуром, электрической плитой, угловым диваном, столом, двумя стульями. Широкий подоконник пустовал, но это было святое место — там она сидела, когда пила кофе.

Нет, на полу надежнее.

Вода нагревалась. Груды наполнились неравномерно: одна чуть больше, чем вторая. Ребенок скоро захочет есть, и надо бы выпить побольше горячей жидкости. Хочет она — не хочет, все для него.

теперь нет, нет своих желаний

Чайник наконец вскипел, Саша плеснула воду в кружку и отдернула руку. Черт! Ошпарилась. Оглянулась на ребенка — он вроде лежал, как раньше,

не двигался, но уголки рта, да, уголки рта насмешливо поднялись: «Так тебе и надо, получай, нерадивая, плохо дающая молоко грудь, вокруг которой образовались другие части тела».

— Доволен, значит.

Она смахнула слезы, зло пнула стул, и тот отлетел, громко ударившись о ножку стола. Как-то выходило одновременно и ненавидеть свою слабость, и злиться, да, злиться на ребенка. Маленького, беззащитного. Но требующего, требующего, сосущего!

Он хозяин, господин и повелитель. Она рабыня, которая исполняет приказания: часами укачивать на руках; обнажать коричневые, с отпечатками десен соски; менять памперсы; поддерживать комфортную температуру тела и, конечно, своевременно обеспечивать лекарствами. Иначе посинения, приступы, да мало ли что еще.

Ему требовалась вся Сашина жизнь. И это невыносимо. А что, если так подумать, ей оставалось делать? Не ухаживать? И пусть кричит, пока добрые соседи не позвонят куда надо?

невозможные мысли

Всхлипнула. Подставила руки под ледяную воду, и сердце — вместе с обжигающей болью — потихоньку успокаивалось. К черту! Пора кормить. Чай можно пить параллельно. Расписание, установленное в больнице, нарушать не хотелось.

Саша поставила кружку на стол, достала мягкое, будто лишенное всех косточек, тело ребенка, залезла в угол на диван. Приладила его на коленях, поддерживая слабую шейку, направила сосок в ищущий рот. Боже, только не это. Вдруг опять регресс, и он забыл,

как сосать? В больнице, когда ей только разрешили кормить грудью, откат был уже два раза, и врач, который «ничего гарантировать, конечно, не мог», уверял, что на этих лекарствах состояние должно улучшиться.

— Ну давай, давай... — пихала она сосок в ребенка *ребенка в сосок*

Еще раз. И еще. Есть! Пружина раздражения немного поддалась, и Саша чуть выдохнула от облегчения. Большими глотками заливала в себя чай, руки уже почти не держали, дрожали. Дрожали. Она опустила голову. Вот и вся ее неприпудренная реальность, за этим клеенчатым столом, в скрюченном положении, с ребенком на руках...

— А-а-а!

Он зажал сосок, деснами зажал ее сосок. Саша так быстро вскочила, что ударилась коленками о стол. Резко оторвала малыша от себя и понесла в спальню. Хватит. Пусть это мелкое чудовище полежит в кроватке.

Он заплакал, закричал, и вроде как надо было покачать, успокоить, но внутри лопнуло что-то сдерживающее, понимающее. Человеческое. Вышло то черное, тугое.

Вдавила ногти в кожу головы. Больно? Больно. Вот и хорошо. Вот и пусть больно. А вот еще, а вот еще, а вот. Саша дернула, со всей силы дернула на себе футболку, закрутила в кулак, пыталась ее разорвать, пыталась сделать себе еще больнее, вдавить живот, вдавить грудь, пережать кровотоки, артерии, перекрыть доступ к кислороду.

Почувствовала — что-то упало. Сама тоже упала — на полу блестящей порванной змейкой лежала мамина цепочка. Накрыла ее ладонью.

*мама, мама, как много мне еще хотелось, как о многом мечталось — сделать ремонт, пойти на повышение, купить машину, переехать поближе к центру, научиться играть на гитаре, неделю бродить одной по Парижу
а что теперь?
что?*

Стало так глупо, что почти весело. Она начала хлопать себя по щекам, чтобы не допустить, чтобы не засмеяться, боялась, что перейдет эту грань и уже не вернется, уже себя не остановит. Она била себя по щекам, по бокам, по животу. Но унять не получилось.

И встал перед ней сам черный смех.